

УДК 1

Категория «дискус» в работах М. Фуко

Ларионов Денис Владимирович

Магистр культурологии, аспирант,
Институт философии Российской академии наук,
109240, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, 12/1,
e-mail: anatolijgrishaev@yandex.ru

Аннотация

В статье показано, что, согласно М. Фуко, производство дискурса неотделимо от процедур исключения и важнейшая из них – это запрет, а сообщение, его носитель и контекстуальная рамка оказываются в пространстве дискурса уже ограниченными. Помимо запрета, действует и такой способ исключения, как «разделение и отбрасывание». Рассматривая эту практику, Фуко обращается к привычному для него примеру безумия, чья логика отделяется от дискурса нормы и не может функционировать с ним на одном поле: слово душевнобольного не имеет никакого веса в рамках социальных отношений. Кроме того, согласно М. Фуко, дискурсы должны мыслиться и восприниматься как прерывистые, а их целостность и полнота – как то, что им предписано самим мыслительным актом. Каждый новый открывающийся дискурс не должен восприниматься как основание для предыдущего, но как такой же децентрированный и лишенный целостности. В этой же связи Фуко предостерегает от использования некоего «предискурсивного предвидения», на которое можно было бы опереться. Ничего подобного, согласно Фуко, не существует, так как дискурс есть насилие, которое мы совершаем над вещами. Из этого вытекает, что Фуко называет «принципом внешнего», который заключается в том, что дискурс вовсе не предполагает некоей глубины, к которой следует двигаться в акте познания. Это позволяет Фуко выделить несколько оппозиций, которые должны стать регулятивными принципами анализа: так, творчество в привычном понимании он противопоставляет событийности, единство – серийности, оригинальность – регулярности, значение – условиям возможности.

Для цитирования в научных исследованиях

Ларионов Д.В. Категория «дискус» в работах М. Фуко // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 3А. С. 89-99.

Ключевые слова

Дискус, М. Фуко, философский анализ, рассуждение, принципы рассуждений.

Введение

Работа Мишеля Фуко «Порядок дискурса», первоначально прочитанная им в виде профессорской речи в Коллеж де Франс в Париже, написана более сорока лет назад. В сжатой форме в ней содержится множество идей, разрабатываемых Фуко как до, так и после ее написания: многие из них уже были высказаны в работе «Что такое автор?», некоторые другие будут уточнены и развернуты в «Археологии знания». В отличие от последней, в «Порядке дискурса» Фуко вовсе не стремится дать определение термина «дискурс». Он сразу начинает с «негативной работы» описания тех процедур, посредством которых производство дискурса «одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется» [Фуко. Воля к истине, 1996]. По мнению Фуко, функция этих процедур состоит в том, чтобы «нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности» [там же].

Основное содержание

Прежде чем более точно очертить границы, в которых понимал дискурс Мишель Фуко, а затем перейти к подробному описанию процедур исключения из него, коснемся лингвистического значения данного термина, который позволит прояснить отличие фуколдианского восприятия дискурса от, так сказать, первоисточника. Согласно Н.Д. Арутюновой, дискурс в первую очередь рассматривается как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами» [Арутюнова, 1990], но также и как «компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмов их сознания» [там же]. В давнем «Введении в структурный анализ повествовательных текстов» Ролан Барт, отгалкиваясь от определения дискурса как предложения, полагает, что он представляет собой систему гораздо более высокого порядка, так как «располагает собственным набором единиц, собственными правилами, собственной "грамматикой"» [Барт, 2008]. При этом исследователь не торопится отказаться от вышеописанного восприятия дискурса, утверждая, что «все семиотические системы подчиняются одной и той же формальной организации» и «с этой точки зрения дискурс есть не что иное, как одно большое предложение» [там же]. Мишель Фуко трактует понятие дискурса более широко: для него это «высказывания постольку, поскольку они относятся к одной дискурсивной формации. [Они] строятся на основе ограниченного количества утверждений, по отношению к которым можно определить группу условий их существования. В этом смысле дискурс – это фрагмент истории, которая накладывается на собственные ограничения, предлагает свое деление на части, свои трансформации, специфические способы темпоральности» [Йоргенсен, Филлипс, 2008].

Производство дискурса неотделимо от процедур исключения, и важнейшая из них – это *запрет*. Согласно Фуко, «говорить можно не всё, говорить можно не обо всём, не всякому можно говорить о чём угодно» [Фуко. Порядок дискурса, 1996]: таким образом, сообщение, его носитель и контекстуальная рамка оказываются в пространстве дискурса уже ограниченными. Или, как это более широко трактует Фуко, «табу на объект, ритуал обстоятельств, привилегированное или исключительное право говорящего субъекта пересекают, усиливают друг друга или компенсируют, образуя сложную решетку» [там же] Наиболее рельефно, по

мнению Фуко, эти операции ограничения и последующего исключения заметны в политике и сексуальности. Оказываясь в рамках дискурса, эти «области» (как их называет Фуко) теряют свое разрушительное и освободительное содержание, которое в него не привносится и, соответственно, не существует. Но в этом заключается и некоторый «подвох», позволяющий обнаружить властную природу всех тех ограничений, которые составляют политику исключения. При этом власть, как известно, понимается Фуко достаточно широко и ее описание выходит за рамки настоящей работы. Отметим лишь, что конкретно в «Порядке дискурса» Фуко упоминает о связи власти с понятием в психоаналитическом смысле желанием, которое не только ограничивается или, напротив, проявляет себя. По мнению Фуко, сам дискурс является объектом желания, ради которого и приводятся в действие политики исключения, «являют себя миру битвы и системы подчинения» [там же]. Подобная связка власти и желания, фантазматическая и конкретная одновременно, необходима нам для того, чтобы оттенить эффекты социологического – в духе идей Пьера Бурдьё – подхода, который в полном мере реализован в книге Михаила Берга, на которую мы опираемся.

Помимо запрета, действует и такой способ исключения, как «разделение и отбрасывание». Рассматривая эти практику, Фуко обращается к привычному для него примеру безумия, чья логика отделяется от дискурса нормы и не может функционировать с ним на одном поле: слово душевнобольного не имеет никакого веса в рамках социальных отношений, но может «выговаривать скрытую истину, возвещать будущее, видеть, бесхитростно и наивно, то, что вся мудрость других не может воспринять» [там же]. Действительно, Фуко упоминает, что безумие определялось (или узнавалось) по слову, которое включало механизм разделения и отбрасывало субъекта за пределы дискурса (нормы): это слово никогда не имело шанса быть услышанным. Другими словами, врач или ученый не стремился обратиться к означаемому, выговариваемому безумцем, но «отсеивал» его по одной лишь фиксации означаемого. При этом, как уже было сказано выше, «слово ему давали только символически – на сцене, где он двигался, безоружный и примиренный, поскольку там он играл истины в маске» [там же]. На резонные замечания о том, что подобный подход уже не столь действенен, как в старые времена (все-таки 1960-1970-е годы – это всплеск движения антипсихиатрии), Фуко отвечает, что разделение проявляет себя даже в молчании психоаналитика, внимательно слушающего своего клиента. Он закрепляет за молчанием огромную силу, которая напоминает о давних способах нормализации (разделения и отбрасывания). Для этого Фуко прибегает к категории цезуры, которая изначально содержится в самом акте молчаливого слушания: выговариваемое слово по-прежнему определенным образом маркируется.

Кроме того, слово можно объявить истинным или ложным – и это третий способ исключения, непосредственно связанный с волей к истине, окончательно оформившейся к XVII веку. Воля к истине, обращенная на познаваемые объекты, согласно Фуко, предваряет свое актуальное содержание. Каким же образом? Во-первых, выводя те стороны познаваемых объектов, которые поддаются классификации и комментированию, во-вторых, производя с полученными знаниями такую техническую обработку, которая в любом случае доказывала их необходимость. В-третьих, знание (истина) довольно строго определяла место познающего субъекта, которому предписывалась «определенная позиция, определенный взгляд, определенная функция» [там же]. Все это, по мнению Фуко, опирается на институциональное подкрепление, выраженное, например, в педагогических практиках. Фуко также приводит и другой способ институционализации, конечно же, так или иначе связанный с первым (при этом следует указать, что они далеко не единственные), – это система книгоиздания, библиотек, а

также научных сообществ, способствующих циркуляции знания в приемлемом виде. Но приемлемым для кого? Фуко указывает, что на протяжении долгого времени экономические отношения апеллировали к «истинному дискурсу», превознося оптимизацию не только в кошельках, но и в душах граждан (этому должна была способствовать мораль). Кроме того, начиная с XIX века уголовное право не довольствуется лишь предписаниями и установлениями, но легитимируется при помощи «социологического, психологического, медицинского и психиатрического знания» [там же].

Помимо уже названных способов исключения, он называет также практики контроля, осуществляемого изнутри самих дискурсов: к важнейшим из них относится комментарий, призванный разделить тексты на первичные и вторичные. В целом, практики внутреннего контроля дискурса связаны с классификацией и упорядочиванием, то есть всем тем, что призвано «обуздать событийность и случайность» [там же] отдельно взятого произведения. В случае комментария речь идет о расположении текстов на разных уровнях дискурса: например, как говорит Фуко, разделение текстов на речевые и письменные, а последние – на первичные и вторичные. Так, «литературное произведение может послужить поводом для одновременного появления дискурсов очень разных типов: «"Одиссея" как первичный текст воспроизводится в одно и то же время и в переводе Берара, и в бесконечных пояснениях к тексту, в и "Улиссе" Джойса» [там же]. С одной стороны, подобное разделение позволяет обратиться к тексту «как в первый раз», акцентируя смыслы, которые не были освещены во время прошлых интерпретаций, предложить новую стратегию чтения и т.д., с другой – подобное обращение связывает читателя (исследователя) с первоисточником, который вновь стремится высказаться через новый текст. Двойственность комментирования заключается в том, что «новое» содержание текста может быть обнаружено лишь при условии, что будет актуализирован первоисточник. Фуко говорит не столько о конкретных примерах (хотя и упоминает их), сколько о самой установке, при которой любое и самое неожиданное высказывание (произведение) прочитывается как комментарий к некоему давнему тексту.

Помимо комментария, выполняющего классифицирующую функцию, практиками контроля, осуществляемого «изнутри» самого дискурса, является автор, вернее «функция-автор». Именно на нём мы остановимся более подробно, так как ряд высказанных Фуко положений важны для нашего исследования. Для этого, помимо «Порядка дискурса», мы будем обращаться к его более ранней работе, также сперва прочитанной в виде лекции, – «Что такое автор?». Фуко понимает под функцией автора не просто конкретного индивида, сочиняющего стихи, прозу или философские тексты, а также существующего в определенном социальном и культурном контекстах. Скорее, он говорит о том, что с определенного момента (он упоминает о XVII веке) любой текст не может полноценно существовать в культуре, если он тем или иным образом не указывает на автора. При этом само функционирование данной категории заставляет несколько иначе взглянуть и на тексты, которые имеют дополнительное значение: афоризмы, записанные беседы или частные, не имеющие прямого отношения к работе автора записки (здесь мы имеем в виду «конкретного индивида», от которого Фуко открешивается). Речь, разумеется, не о том, чтобы приписать автору все эти вещи и, успокоившись, включить их в собрание сочинение, но о том, что при проблематизации авторства статус этих документов оказывается более чем неопределенным. Фуко приводит на первый взгляд курьезный, но на самом деле показательный пример Ницше, в документах которого необязательные записки, размышления и даже счета из прачечной оказываются перемешаны с фрагментами из будущих сочинений. Где же провести границу? Фуко не предлагает какого-то выхода из этой ситуации,

он скорее приходит к выводу о том, что понятие целостности произведения и способы его функционирования в культуре не менее проблематичны, чем сама авторская инстанция. Фуко убежден, что приостановить – как в старые времена – значение автора и «заменить» его исключительно произведением невозможно, так именно авторская инстанция определяет границы корпуса текстов и центрирует их восприятие. Это справедливо не только в отношении текстов домодернистской, модернистской или постмодернистской эпох, которые вряд ли могут существовать без инстанции автора (при этом могут его постоянно проблематизировать в рамках самого текста, например, освобождаясь от темы выражения, говорит Фуко, приведя небольшую цитату из Сэмюэля Беккета). Без обращения к инстанции авторства и определения границ произведения восприятие множества классических текстов было бы другим: Фуко приводит пример «Тысяча и одной ночи», задаваясь вопросом, что заставляет воспринимать этот текст как единое произведение. «Тысяча и одна ночь» упоминается также в связи с тем, что Фуко называет «средство письма и смерти» [Фуко. Что такое автор?, 1996], обострившееся в литературе классического модернизма. Причем, в отличие от арабского текста, где рассказ был отсрочкой смерти, или текстов более поздних (например, эпохи романтизма), где смерть автора, особенно ранняя, служила залогом бессмертия, в модернистских текстах письмо связано со «стиранием индивидуальных характеристик пишущего субъекта», выражающимся, в частности, во «всевозможных уловках, которые пишущий субъект устанавливает между собой и тем, что он пишет». Таким образом, «маркер писателя – это не более чем своеобразие его отсутствия»: в ряду наиболее репрезентативных фигур Фуко называет Гюстава Флобера, Марселя Пруста и Франца Кафку. Также он имплицитно ссылается на классическую работу Ролана Барта, призывавшего отказаться от автора в привычном понимании в пользу читателя. При этом, обращаясь к категории письма, близкой Барту и Деррида, Фуко задается вопросом, не является ли подобное отношение к письму «транспозицией эмпирических характеристик автора?». Кроме того, задается вопросом Фуко, не является ли связь письма с актом забвения и его восприятие в терминах отсутствия (думается, это довольно прозрачный намек на Жака Деррида) представленным «в трансцендентальных терминах религиозным принципом сокровенного смысла и повторением религиозного принципа традиции». Это ведет к странной ситуации, когда, как выражается Фуко, «в сером свете нейтрализации» происходит сохранение всех присущих европейскому автору свойств.

В обеих статьях Фуко предлагает близкие по смыслу характеристики автора, каждая из которых дополняет друг друга: итак, по мнению Фуко, автор – «это принцип группировки дискурсов, единство и источник их значений, центр их связности», он «ограничивает случайность игрой идентичности, формой которой является индивидуальность и я» [Фуко. Порядок дискурса, 1996]. Вновь упомянем, что подобное определение не касается биографических (в широком смысле) реалий авторства, но показывает, каким образом тот или иной текст разрабатывает своеобразную траекторию («курс», пишет Фуко) по отношению к фигуре автора. Для этого необходимо проделать проблематизирующую операцию, сходную с пресловутой «смертью автора», позволяющую понять сущность и необходимость этой функции. Фуко обращается к такой важной категории, как имя автора, утверждая, что оно не исчерпывается референциальным значением, лишь указывая на некоего индивида, оставившего тот или иной корпус текстов. Как правило, и к середине XX века это стало ясно, авторское имя собственное указывает и на нечто большее, возникающее по принципу метонимии: так, Аристотель связан с дескрипцией «основатель онтологии». Таким образом, считает Фуко, имя собственное и имя автора функционально различаются и «оказываются расположенными где-

то между этими двумя полюсами: дескрипции и дессигнации» [Фуко. Что такое автор?, 1996]. При этом речь идет не о четком разделении между двумя этими инстанциями, но об их, так сказать, неравномерном расположении: при этом сугубо биографические подробности играют далеко не главную роль. В этой связи Фуко вспоминает хрестоматийный пример с Уильямом Шекспиром: ведь в случае ошибочности расположения квартиры, где сегодня находится его музей, нельзя говорить о кардинальном изменении статуса автора и функционирования его имени; тогда как в случае разрешения (не в его пользу) сомнений насчет написания им ряда текстов, о таком изменении говорить можно. То же самое касается и давнего сюжета с «Новым Органоном»: если окажется, что его написал не Фрэнсис Бэкон, а Уильям Шекспир, этот факт значительно отразится на функционировании имени автора. Фуко придает большое значение имени автора по причине того, что оно не является просто «подлежащим или дополнением, которое может быть заменено дополнением», но производит структурирующую и классифицирующую (о чем мы говорили ранее) операции, позволяя «сгруппировать ряд текстов, разграничить их, исключить из их числа одни и противопоставить их другим». В этой связи показательны примеры античных авторов, которые не имеют ничего общего с функционированием авторского имени в позднейшие эпохи: собирая различные тексты в единый корпус и связывая его с тем или иным автором, мы «устанавливаем отношения гомогенности или преемственности, аутентичности одних текстов через другие». Именно поэтому имя автора и стоящая за ним функция имеют важнейшее значение, указывающее на то, чем является конкретный корпус текстов в той или иной культуре. При этом Фуко воспринимает подобную операцию не как нормализующую, но как возможную лишь в разрыве между социокультурным контекстом произведения и особенностями его поэтики (например, способами нарративизации): именно из этой проблематизирующей точки и возможно группирование дискурсов. Фуко подчеркивает, что подобный пиетет перед автором литературного текста был не характерен для античного общества, тогда как научные и философские разыскания требовали апелляции к тому или иному имени. В позднейшее время (Фуко называет XVI и XVII века) все изменилось с точности да наоборот: своеобразная анонимность научного открытия или идеи является неотъемлемой частью истории науки, тогда как литературный дискурс современности не поможет функционировать без инстанции автора: восприятие текста без знания того, кто его написал, будет искажено. Внимание Фуко к временным границам авторской инстанции довольно закономерно и позволяет обозначить важнейшее противоречие, заложенное в ней: речь идет о психологизирующей установке, выводящей автора в биографическое поле, атрибутирующей дискурс некоему индивиду. Тогда как подобная операция является позднейшим рациональным актом, проекцией, на которую с разными целями идут литературные критики и исследователи. В этой связи для Фуко интересны не случаи конкретных авторов, но то, как создаются различные авторские типы: философ, романтический поэт, романист и т.д. При этом Фуко вновь указывает на то, что восприятие авторства в современной ему литературной критике (да и многим ранее) находится в достаточно сильной зависимости от религиозного способа истолкования ценности текста через особое положение автора (например, его святости). Фуко проводит значимую параллель между наказаниями святого Иеронима относительно установления авторства того или иного корпуса текстов и современной ему критике, которая определяет автора как а) инстанцию, центрирующую присутствующие в произведении события и трансформации; б) единство повествования; в) функцию, сглаживающую противоречия, присутствующие в рамках того или иного корпуса текстов; г) «очаг выражения, который равным образом обнаруживает себя в

различных, более или менее завершенных формах: в произведениях, в черновиках, во фрагментах и т.д.» [Фуко. Что такое автор?, 1996].

Также порядок дискурса создается разного рода практиками разделения: индивид, желающий оказаться в рамках дискурса, оказывается имплицитно связанным с системой правил, по которым он функционирует. Другими словами, не всякий субъект способен вступить в порядок дискурса: либо из-за требований, которые оказываются для него непосильными, либо из-за родовых особенностей, не позволяющих ему оказаться в рамках дискурса. Кроме того, согласно Фуко, не все его области одинаково открыты: в некоторые из них доступ запрещен. Он обращается к примерам различных «дискурсивных сообществ», в частности литературных, показывая их во многом принудительный характер: так, например, их существование неотделимо от институализации акта письма, который легитимируется через форму книги, являющуюся звеном в издательской политике. Кроме того, авторское письмо (и говорение) обладает довольно специфическим, непреходящим статусом: в отличие от слова любого другого индивида, не включенного в соответствующее «дискурсивное сообщество». В центре подобного сообщества, по мнению Фуко, лежит некоторая тайна, которая доступна его членам и никому больше: именно уверенность в этом и структурирует дискурс. Данная тайна присутствует, разумеется, в области истинного (или воли к истине), которая позволяет ориентироваться в тех или иных явлениях, замечая одни и отбрасывая другие: Фуко приводит пример с Менделеем, чьи открытия хромосом не могли быть восприняты научным сообществом, так как обращались к области, не входящей в ведение торжествующей на тот момент ботаники (то есть описания «видимой структуры растений»). Из этого следует, что все названные практики исключения связаны с дисциплинарностью, позволяющей контролировать границы того или иного дискурса, определяя области его функционирования и, соответственно, познания.

Предлагает ли Фуко способы если не полного уклонения от порядка дискурса, то хотя бы его анализа? Да, указывая на то, что в дискурсе утрачивается любая событийность, он предлагает несколько методов, которые бы проблематизировали отношения между элементами дискурса. Это «принцип переворачивания», который заключается в том, чтобы рассматривать все выделенные Фуко категории не как непоколебимые и конструктивные, но, проблематизируя, разглядеть в них «негативную игру рассечения и прореживания дискурса». Он также упоминает о том, что даже в деконструированном, «прореженном» виде дискурс неизбежно будет мыслиться как целостный. Касаясь данного случая, Фуко говорит о том, что дискурсы должны мыслиться и восприниматься как прерывистые, а их целостность и полнота – как то, что им предписано самим мыслительным актом. Каждый новый открывающийся дискурс не должен восприниматься как основание для предыдущего, но как такой же децентрированный и лишенный целостности. В этой же связи Фуко предостерегает от использования некоего «преддискурсивного предвидения», на которое можно было бы опереться. Ничего подобного, согласно Фуко, не существует, так как дискурс есть «насилие, которое мы совершаем над вещами». Из этого вытекает, что Фуко называет «принципом внешнего», который заключается в том, что дискурс вовсе не предполагает некоей глубины, к которой следует двигаться в акте познания. Скорее, движение должно происходить по поверхности дискурса, что позволит определить внешние условия его появления, его регулярность, обратиться к внешним условиям его возможности и тому, что ограничивает случайную серию событий. Это позволяет Фуко выделить несколько оппозиций, которые должны стать «регулятивными принципами анализа»: так, творчество в привычном понимании он противопоставляет событийности, единство – серийности, оригинальность – регулярности, значение – условиям возможности. Нечто

подобное высказывается им в более поздней книге «Археология знания», где он говорит о необходимости использовать понятия «прерывности, разрыва, порога, границы, ряда, преобразования...» [Фуко, 2012].

Здесь мы хотели ввести еще одну концептуальную рамку, а именно восприятие литературы Жилем Делезом, представленное в его книге «Критика и клиника», а также написанной совместно с Феликсом Гваттари в книге о Кафке. Согласно Делезу, литературное творчество имеет дело с бесформенным и автор вовсе не должен навязывать некую структуру жизненным впечатлениям. Бесформенность здесь – это различные формы множественности, все то, что в становлении преодолевает молярные структуры: в диапазоне от института семьи до линейного повествования буржуазного романа XIX века (то есть культурного артефакта, предшествующего появлению утопического / социалистического реализма). Литература, по Делезу, создается тогда, когда оказывается невозможным говорить от первого лица, но уже возможно прибегнуть «к некоему третьему лицу, лишаящему нас силы говорить «Я» [Делёз, 2011]. Думается, речь не столько о том, что склонный к субверсивным творческим практикам автор избегал на письме местоимений первого лица, предпочитая их местоимениям третьего лица: в рамках делезианского понимания литературы различные акцентуации повествователя и/или персонажей, которые могли бы быть приняты за их типические свойства, становятся знаком, указывающим на становление. Согласно Делезу, литературный текст связан с проблематикой становления, а текст, подчеркивающий свою незавершенность и фрагментарность, прямо указывает на нее. Типизация, от которой он «освобождает» литературу, способна удерживать представление о вышеупомянутых молярных структурах, которые не могут быть вовлечены в становление по причине своей мажоритарности. Таков, согласно Делезу и Гваттари, и человек, обладающий «господствующей формой выражения, которая притязает на то, чтобы навязать себя любой материи» [там же]. Становление человеком невозможно, именно поэтому у Делеза эта категория отличается от ее привычного понимания, связанного, например, с проблематикой *Bildungsroman*. В эссе «Литература и жизнь», вошедшее в книгу «Критика и клиника», Делез говорит о становлении не как о миметическом акте, акте отождествления с миром, но как «о нахождении участков соседства, неразличимости, такой недифференцированности, что уже невозможно отличить себя от *какой-то* женщины, *какого-то* животного или *какой-то* молекулы: не расплывчатых или общих, а непредусмотренных, непредсуществовавших, менее всего определенных по своей форме, ведь своеобразие они обретают в своем виде» [Делез, 2010]. При этом миноритарные сущности («женщина», «животное», «еврей», «молекула», «индеец», «гей» и др.) не поддаются описанию через привычные для них категории, а находящиеся в становлении субъекты могут вообще ничего не знать о своих социокультурных функциях. Так, в эссе «Литература и жизнь» Делез вспоминает роман Ж.М. Леклезие, в котором происходит «становление-индейцем», при этом индеец ничего не знает о ритуалах и обязанностях, ему предписанных. Становление не заключается в совпадении или имитировании родовой или видовой особенности: скорее оно связано с циркуляцией безличных аффектов, о которых Делез и Гваттари упоминают в «Тысяча плато». Также становление лишено какой бы то ни было линейности и, что особенно важно, преемственности: «всякая преемственность воображаема» [там же], тогда как становление не связано с фантазийными сюжетами. Оно, утверждают Делез и Гваттари, абсолютно реально, даже если «конечной цели» становления в реальности не существует. По их мнению, подобная постановка вопроса – «либо мы имитируем, либо существуем» [там же] – некорректна, так как рассматривает проблематику становления в компенсаторном ключе, что для Делеза и Гваттари

совершенно недопустимо (прежде всего, из-за того, что подобный подход так или иначе связан с ненавистным им фрейдовским психоанализом). «Становление – это глагол со всей его консистенцией; оно не сводится и не возвращает нас к "появляться", "быть", "соответствовать" или "производить"» [там же]. Делез указывает на то, что важен сам момент «нахождения участков соседства» с некоей миноритарной сущностью, ситуация неопределенности, подчеркивающая принципиальную незавершенность становления.

В своей книге «Критика и клиника», а именно в главе «Пере-предстание Мазоха», Делез пишет о так называемой малой литературе, предписывающей уход главному языку. Как следует из названия, Делез ссылается на Леопольда Захер-Мазоха, чей «очень чистый немецкий язык, тем не менее, все равно охвачен каким-то трепетом» [Делез, 2011]. Речь, разумеется, не о той или иной форме стилизации или практиках имитации, как это часто случалось в раннемодернистской литературе, но о «верхнем состоянии языка в отношении преданий, положений и содержаний, которыми он питается» [там же]. Делез призывает «заставить заикаться сам язык, в самой что ни на есть глубине стиля» [там же]. В эссе «Литература и жизнь» также говорится о становлении применительно к языку: писатель (например, Франц Кафка, довольно часто встречающийся на страницах «Критики и клиники») не изобретает какой-то другой язык, но находит участки, в которых, согласно Делезу, «возможно становление другим самого языка» [там же], позволяющее уклониться от языка институциональной литературы.

Заключение

Таким образом, согласно М. Фуко, производство дискурса неотделимо от процедур исключения, и важнейшая из них – это запрет, а сообщение, его носитель и контекстуальная рамка оказываются в пространстве дискурса уже ограниченными.

Помимо запрета, действует и такой способ исключения, как разделение и отбрасывание. Рассматривая эти практику, Фуко обращается к привычному для него примеру безумия, чья логика отделяется от дискурса нормы и не может функционировать с ним на одном поле: слово душевнобольного не имеет никакого веса в рамках социальных отношений.

Кроме того, согласно М. Фуко, дискурсы должны мыслиться и восприниматься как прерывистые, а их целостность и полнота – как то, что им предписано самим мыслительным актом. Каждый новый открывающийся дискурс не должен восприниматься как основание для предыдущего, но как такой же децентрированный и лишенный целостности. В этой же связи Фуко предостерегает от использования некоего «пре-дискурсивного предвидения», на которое можно было бы опереться. Ничего подобного, согласно Фуко, не существует, так как дискурс есть насилие, которое мы совершаем над вещами. Из этого вытекает, что Фуко называет «принципом внешнего», который заключается в том, что дискурс вовсе не предполагает некоей глубины, к которой следует двигаться в акте познания. Это позволяет Фуко выделить несколько оппозиций, которые должны стать регулятивными принципами анализа: так, творчество в привычном понимании он противопоставляет событийности, единство – серийности, оригинальность – регулярности, значение – условиям возможности.

Библиография

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.

2. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Барт Р. Нулевая степень письма. М.: Академический проект, 2008.
3. Делёз Ж. Критика и клиника. СПб.: Machina, 2011. 194 с.
4. Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. М.: Астрель, 2010. 895 с.
5. Дьяков А.В. Мишель Фуко и его время. СПб.: Алетейя, 2010. 672 с.
6. Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. 2-е изд., испр. Харьков: Гуманитарный Центр, 2008. 688 с.
7. Киммел М. Гендерное общество / пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2006. 464 с.
8. Фуко М. Что такое автор? // Воля к истине: по ту сторону власти, знания и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
9. Фуко М. Археология знания. 2-е изд., испр. СПб.: Гуманитарная Академия, 2012. 415 с.
10. Фуко М. Воля к истине: потусторонезнания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. 448 с.

Category of "discus" in the works of M. Foucault

Denis V. Larionov

Master of Cultural Studies, Postgraduate,
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences,
109240, 12/1, Goncharnaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: anatolijgrishaev@yandex.ru

Abstract

The article shows that, according to M. Foucault, the production of discourse is inseparable from the exclusion procedures and the most important of them is prohibition, and the message, its medium and the prohibition, there is a method of exclusion, such as "separation and rejection". Considering this practice, Foucault turns to his usual example of madness, whose logic is separated from the discourse of the norm and cannot function with it on the same field: the word of insane has no weight in the framework of social relations. In addition, according to M. Foucault, discourses should be thought and perceived as intermittent, and their integrity and completeness – as what is prescribed to them by the mental act itself. Each new opening discourse should not be perceived as the basis for the previous one, but as the same decentered and devoid of integrity. In this connection, Foucault warns against the use of a kind of "pre-discursive foresight" which could be relied upon. According to Foucault, nothing of the kind exists, since discourse is violence that we commit over things. From this it follows what Foucault calls the "principle of the external", which consists in the fact that discourse does not at all imply a certain depth to which one should move in the act of cognition. This allows Foucault to distinguish several oppositions, which should become the regulatory principles of analysis: for example, he contrasts creativity in the usual sense with eventfulness, unity with seriality, originality with regularity, value with the conditions of opportunity.

For citation

Larionov D.V. (2019) Kategoriya "diskus" v rabotakh M. Fuko [Category of "discus" in the works of M. Foucault]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 8 (3A), pp. 89-99.

Keywords

Diskus, M. Foucault, philosophical analysis, reasoning, principles of reasoning.

References

1. Arutyunova N.D. (1990) Diskurs [Discourse]. In: *Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar'* [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya Publ.
2. Bart R. (2008) Vvedenie v strukturnyi analiz povestvovatel'nykh tekstov [Introduction to the structural analysis of narrative texts]. In: Bart R. *Nulevaya stepen' pis'ma* [The zero degree of writing]. Moscow: Akademicheskii proekt.
3. Delez Zh. (2011) *Kritika i klinika* [Criticism and the clinic]. Saint Petersburg: Machina Publ.
4. Delez Zh., Gvattari F. (2010) *Tysyacha plato: Kapitalizm i shizofreniya* [A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia]. Moscow: Astrel' Publ.
5. D'yakov A.V. (2010) *Mishel' Fuko i ego vremena* [Michel Foucault and his time]. Saint Petersburg: Aleteiya Publ.
6. Fuko M. (2012) *Arkheologiya znaniya* [Archeology of knowledge], 2nd ed., ispr. Saint Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya Publ.
7. Fuko M. (1996) *Volya k istine: potustoronuznaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [The will to truth: otherworldly knowledge, power and sexuality. Works of different periods]. Moscow: Kastal' Publ.
8. Iorgensen M.V., Fillips L.Dzh. (2008) *Diskurs-analiz. Teoriya i metod* [Discourse analysis. Theory and Method], 2nd ed. Khar'kov: Gumanitarnyi Tsentri Publ.
9. Kimmel M. (2006) *Gendernoe obshchestvo* [Gender Society]. Moscow: ROSSPEN Publ.
10. Fuko M. (1996) Chto takoe avtor? [What is the author?]. In: *Volya k istine: po tu storonu vlasti, znaniya i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [The will to truth: on the other side of power, knowledge and sexuality. Works of different periods]. Moscow: Kastal' Publ.